

НЕ ЗАБЫВАЙ ЯЛТУ!

Рассказ

Василий Комаров¹ на войне командовал взводом. Летом он получил ранение под Мариуполем, а лечиться его отправили в Крым. Врачи велели ему ходить, чтобы разрабатывать больную ногу, и он подолгу гулял по Ялте. В этот сырой осенний день Комаров шел по горбатой выщербленной дороге из Ялты в Аутку. Слева, словно обрываясь из-под его ног, уходили вниз разномастные кровли, между которыми недружелюбно поблескивало алюминиевое море, справа того же цвета небо подпирала отвесная гора, служившая как бы стеной дороги.

Туман сгущался. Внизу наконец Комаров увидел подходящий по описанию дом, цель своего сегодняшнего путешествия. Здесь когда-то жил знаменитый писатель. Так вышло, что Комаров до тридцати лет не прочитал всерьез ни одной его вещи, кроме коротких рассказов. Когда он был студентом, то проза этого писателя считалась молодежью занудной и устаревшей. Потом пошла такая жизнь, что стало вообще не до чтения. А в симферопольском госпитале Комаров нашел в тумбочке оставленную прежним хозяином потрепанную книгу писателя «Повести и рассказы» и прочитал от корки и до корки. Эти повести и рассказы обладали бесценным качеством старой доброй прозы – помогали, когда трудно. Не то чтобы они пробуждали надежды и звали неведомо куда, напротив, с тихим мужеством говорили, что жизнь человека – это страдание. Счастье в ней так мимолетно, так редко. Оно гость в этой жизни, а не постоялец. Постоялец – это страдание. Всё, всё, что происходит с этой когда-то огромной страной, – тоже страдание. Огромный театр, а в нем бесконечная драма. Вот-вот, казалось бы, наступит очищение, катарсис. Шли годы, не наступало.

Комаров смотрел сверху на окутанный туманом белый двухэтажный особняк с башенкой. Неясно, как в полусне, вспоминалось недавно прочитанное: «... мелькали внизу огни... казалось, что туман скрывает под собой бездонную пропасть... им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то... они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз всё-таки надо...»

– Всё-таки надо, – повторил вслух Комаров. Где-то там, на северо-востоке, в степях Приазовья, шла война, на которую ему предстояло вернуться. Комаров был добровольцем, но в победу уже не верил. Если бы весной или хотя бы в августе... После ранения он почувствовал какое-то безразличие к происходящему. На больничной койке у него появилось время, чтобы поразмышлять над своей жизнью. Всё чаще он приходил к выводу, что

¹ Большинство героев рассказа носят подлинные фамилии и имена прототипов. – *Прим. авт.*

он никакой не солдат, и на этой войне вполне могли бы обойтись и без него. Быстро смеркалось. Комаров, хромя, пошел назад.

Когда он вернулся в центр города, уже совсем стемнело. Дом, в котором Комаров снял комнату, был у самого моря. Окна во втором этаже померанцево светились. Он открыл дверь выданным хозяйкой ключом, вошел в прихожую. Когда он зажег свет, из таинственной глубины зеркала напротив на него посмотрело длинное утомленное лицо с сильно обозначившимися подглазьями. Комаров недовольно отвел глаза, пригладил волосы. На лестнице показалась хозяйка. Они поздоровались.

– Будете пить чай? – улыбаясь, спросила она.

– Не откажусь.

Поднялись в гостиную. Комаров уже отвык от общения с женщинами и смущался, лоя на себе ее взгляд. Анна Лаврентьевна несколько лет назад потеряла мужа, но была еще довольно свежей и милой женщиной. Они сидели друг против друга за круглым столом, и пили заваренный хозяйкой чай. Анна Лаврентьевна спрашивала Комарова про войну, он скупно отвечал, потому что всерьез ничего вспоминать не хотелось, а в шутку было вспомнить нечего. Тогда она поведала ему о покойном муже; он внимательно слушал, но впоследствии обнаружил, что в памяти об ее муже не осталось почти ничего.

Потом замолчали. Тихий ангел пролетел. Чай был допит, следовало, вероятно, откланяться. Но Комаров отчего-то все сидел, считая чаинки на дне чашки. Он немного разговорился, и оставаться одному не хотелось.

– Вы странный человек, Василий Матвеевич, – ласково сказала Анна Лаврентьевна. – Внешне похожи на военного, а по характеру – нет. Военный человек готов ответить на все вопросы жизни, не задумываясь – правильно, неправильно. А вы как бы всем своим видом говорите: может быть, так, а может, этак.

– Что ж, – пожал плечами Комаров, – не буду скрывать, Анна Лаврентьевна, я не знаю ответ ни на один вопрос жизни.

– Так ли? – засмеялась она. – А как же вы живете?

– Так и живу.

– Ну, на войне-то, наверное, вы знаете, что делать?

– Наверное. Поэтому-то я на войне.

– А страшно убивать людей? – неожиданно спросила она.

Комаров поднял глаза от пустой чашки. Анна Лаврентьевна сидела, удобно откинувшись на спинку стула, округлые колени спокойно лежали под мягкой материей платья.

– Первый раз убить человека страшно, ежели ты с ним лицом к лицу, – наконец ответил он, растягивая слова, как на экзамене. – Но вообще это не самое страшное на войне. Страшно, когда тебя убивают. – Он поднялся. – Вы знаете, в обществе такой приятной женщины, как вы, как-то не хочется об убийствах. Спасибо за чай.

Комаров спустился к себе, разулся, лег на диван. Он знал, что уснуть долго не удастся. Смежив веки, глядел на проплывающих под ними

прозрачных амёб. Густой туман, белый, как молоко... скрывает бездонную пропасть... в числе бесконечного ряда жизней... его... этой женщины с круглыми коленями... Колени вдруг приблизились, и он положил на них голову. В точно таком же положении Комаров проснулся три дня спустя вечером. В темноте он видел над собой лицо Анны Лаврентьевны, влажный блеск ее глаз. Она склонилась над ним, гладкие груди коснулись его лица. Мимолетное прикосновение оставило ощущение радости. Так, словно вспоминаешь о ней... Он прижался небритой щекой к ее животу. Анна прерывисто вздохнула. Тикали часы. Море одышливо било в набережную. Сквозь зашторенные окна веером проникал, скользя по полу, зеленый свет маяка с оконечности мола.

– Знаешь, - сказала Анна, - а ведь с мужем у меня не было так... ты понимаешь? Я даже тяготилась нашими отношениями. Хотя по-своему и любила его.

– А разве после мужа ты ни с кем не встречалась?

– Встречалась... Да всё как-то не так. Как-то просто. Точно по необходимости. Да и кому сейчас до любви? Встретились – и разошлись.

– А что значит – просто? Одиноким постояльцам вроде меня?

Анна усмехнулась.

– Может быть, ты и не знаешь ответов на вопросы жизни, но сам, как всякий военный, задаешь прямые вопросы. Слишком прямые.

Комаров поморщился.

– Прости, Аня. Как-то очерствел душой, незаметно. Дело уже не в войне. Просто жизнь стала, как бездна в тумане. Это один писатель сказал. И куда не пойдешь – всё вроде бы стоишь на краю пропасти. Назад пути нет, а впереди туман, бездна.

– Зачем ты так? Мир не бездна, в нем люди живут. И у тебя, наверное, есть кто-то, родные, близкие... любимая.

– Никого у меня нет. Я уже и забыл, когда с людьми по-человечески разговаривал, ну вот как теперь с тобой.

– Ну и говори, Васенька, говори.

Он засмеялся, провел пальцем по ее ключице.

– А разве тебе интересно?

Она не ответила, поцеловала его в глаза. Он приподнялся, сел рядом, обнял ее за плечи. Прожектор на мгновение осветил их, загорелые плечи, блестящие лодыжки Анны Лаврентьевны и бледную грудь Комарова.

Назавтра выдался прекрасный, солнечный день. Туман испарился, воздух подсох и остекленел. Южный ветерок промыл его. Море из алюминиевого сделалось сиреневым, теплым на вид. Оно, может быть, и вправду было теплым: по нему прыгали, как детские мячи, головы купальщиков. Одурающе пахли кипарисы. Анна Лаврентьевна и Комаров шли по набережной. Комаров кормил чаек, бросая им куски булки.

– Отвратительные птицы, – говорил он, щурясь на солнце. – Раньше, когда я не видел их, то, как и многие, полагал, что в них есть что-то

поэтическое. Ничего подобного. Во всяком случае, вблизи. Они вечно что-то клюют на помойках своими длинными развратными клювами. «Чайка» у Чехова – страшное название. Читателю с «большой земли» это не понять.

– Ты говоришь, как крымские рыбаки. Они называют чаек летающими свиньями, а дельфинов – плавающими свиньями. А, по-моему, чайки – красивые птицы. Такой излом крыльев...

– Еще немного, и ты убедишь меня, что эта подсиненная лужа – Понт Эвксинский – тоже красива.

– Ты шутишь? Я никогда не поверю, что кому-то может не нравиться Черное море.

– Нравится, нравится! Только для северянина немного конфетно. Прямые линии Балтики, адмиралтейская игла, шлем Исаакия, ростральные колонны – вот наша красота. Дух Петра Великого. «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия». Военный корабль так же уместен на Балтике, как заколка в твоих волосах. А посмотри на этот сторожевик: смотрится, как задник декорации в оперетте. Уж балтийцы не дали бы дважды утопить свой флот.

– На севере холодно, – она передернула плечами. – А я не люблю холода. Где холод, там и смерть. И мне не нравятся прямые линии.

Море искрилось лучами, как будто в нем плавали зеркала. Воздух подернулся ленточками шашлычного дыма. Из гостиницы «Россия» высыпали на набережную и мол по-летнему одетые мужчины и женщины. Были даже иностранцы с фотоаппаратами. Комаров и сам чувствовал себя иностранцем. Казалось, с того момента, когда он стоял над плавающим в тумане дома писателя, прошло лет девяносто. Неужели где-то есть война? Зачем?

В открытом кафе на набережной они заказали вина. Комаров пил много, чтобы подольше ощущать себя не слишком обремененным заботами путешественником. Анна курила, оставив блестящий локоть. Была она сегодня удивительно хороша. Жаркая ночь с короткими перерывами на сон, без остатка вымотавшая Комарова, казалось, лишь освежила ее. Подошел уличный фотограф, предложил снимок на память. Анна отрицательно покачала головой.

– Отчего же ты не хочешь, Аня? – удивился Комаров. – Что плохого, если у меня на войне, как и у моих товарищей, будет в бумажнике фотография, которой я могу похвастаться? Вот моя любимая женщина. Наступит мир, обязательно поеду к ней.

– Я всё не пойму, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно. В нашей семье было принято считать, что фотографироваться на память – дурная примета.

– И оттого у тебя дома нет никаких фотографий?

– Может быть. Мы однажды вот так снялись с мужем, а потом его не стало. А я ведь его тоже просила не сниматься.

– По этой логике все эти здоровые и упитанные люди вокруг никогда не должны были фотографироваться. Аня, что ты придумываешь? Я хочу иметь

наше фото. Давай-ка я подсяду к тебе. Снимайте, маэстро. Прямо за столиком. На фоне пальмы. Привет из солнечного Крыма.

Анна пожалала плечами, отпила вина. Маэстро установил треногу, навел на них сверкнувшую в лучах солнца оптику объектива.

– Бликует, как снайперский прицел. На войне, если блеснет вдали такая штука, то сейчас же надо падать на землю, а то прилетит птичка, – острил оживленный вином Комаров.

– Птицька? – шепелявя, переспросил лысый маэстро. – Мозет быть, зелаєте сняться с попугаем? – Большой какаду, косивший на них круглым глазом, сидел у него на плече, как у пирата.

– У вашего попугая наверняка блохи, – заявила Анна Лаврентьевна. – С ним я точно не буду сниматься.

– Цо вы такое говорите за блох? – возмутился фотограф. – Никогда у него их не было! Это благородная птица! Я за ней ухаживаю! Впрочем, как знаете. Мое дело – предложить.

– Аня, ты хмуришься? – спросил Комаров, когда маэстро удалился. – Ты чем-то недовольна? Это всё мои дурацкие шутки?

Анна покачала головой. Солнце горело на белой поверхности стола, подсвечивало снизу смуглую руку Анны, и она стала почти прозрачной, переплетенной в глубине, в нежной тени лучевой кости, сетью тоненьких голубых жилок. Глаза ее блуждали далеко.

– Скажи, – спросила она, по-прежнему не глядя на Комарова, – кто-нибудь знает, что ты здесь... у меня?

– Нет, я никому не говорил.

– А у кого ты узнал, что можно у меня остановиться?

– Ни у кого. Я погулял по набережной и постучался в первый попавшийся дом. А почему ты спрашиваешь?

Она не ответила. Лицо ее показалось ему вдруг усталым. В театральном саду заиграл оркестр. Набережная постепенно пустела. Комаров допил вино, оглянулся – не заказать ли еще?

– Вася, – сказала наконец Анна, – ты бы мог не возвращаться... в эту свою часть?

Комаров вздрогнул. Некоторое время назад, шутя о фотографии в бумажнике, он поймал себя на мысли, что думает о войне как о чем-то таком, что уже не имеет к нему никакого отношения.

– Что ты, Аня? – проговорил он, сам уже не глядя ей в глаза. – Как это – не возвращаться? А что обо мне люди подумают? Я ж командир взвода, присягу принимал.

– Я в этом мало что понимаю... – медленно сказала она. – В присяге особенно. Сейчас каждой новой власти присягают. В Крыму есть офицеры, которые присягали по пять раз. Но ты ведь доброволец, не так ли? Волен прийти, волен уйти?

– Это было бы слишком просто, – усмехнулся он. – Война такая штука, что человек волен на нее прийти, но не совсем волен уйти.

– Но ведь она скоро может кончиться? И тогда твой уход будет означать не то, о чем ты думаешь сейчас.

– А что он будет означать?

– Ну, то, что война кончилась и надо начинать новую жизнь.

– А ты убеждена, что она скоро кончится?

– Так говорят.

– Да? Но только почему-то не на фронте. Хорошо, допустим, я дезертировал. И как мне после этого людям в глаза глядеть?

– Каким людям? Никто же не узнает.

– Ты не поняла. Здесь много людей с войны – лечатся, отдыхают. Я их по глазам узнаю.

– Но ведь это не твои знакомые?

– Какая разница? Могут встретиться и мои. Ты пойми...

– Я понимаю. Всякий мужчина стоит перед выбором: женщина или война... женщина или мужская дружба... женщина или карьера... женщина или водка... Но выбирает всё-таки что-то одно. Между своей жизнью и чужой. Я предлагаю тебе выбрать свою. А потом: зачем тебе здесь с кем-то встречаться? Поживешь до заключения мира у меня, без нужды не выходя на улицу. Ведь и вправду все говорят о мирных переговорах. Главное – решиться, поверь. А выход обязательно найдется.

– Аня, а ты представляешь, что будет, если все уедут с войны? Мы что – на нее пошли просто так пострелять? Ты знаешь, что эти сволочи творили в Киеве, Одессе, Мариуполе?

– Все знают. Это страшно. Но ведь война в любом случае кончится. Те, кому посчастливится выжить, разойдутся в разные стороны и снова будут каждый за себя. Я вот увидела тебя в первый раз – меня даже в сердце что-то толкнуло. Такой ты был одинокий. Разве ты был кому-нибудь нужен, кроме меня?

– Как человек – едва ли.

– Ну вот, зачем же тебе беспокоиться о других? У них своя жизнь, свои представления о долге. Ты свой выполнил, был близок к смерти. Тебя могло уже не быть. Война на исходе. Если ты счастлив сейчас со мной, то там тебя обязательно убьют. Таков подлый закон жизни.

– Станный у нас разговор, – заметил Комаров. – Ты же любила меня воином, а не дезертиром. Но теперь хочешь, чтобы я стал дезертиром. Это так называемая женская логика?

– Я знаю одно, – с мрачной уверенностью тихо сказала Анна. – Если ты вернешься на войну, тебя точно убьют. Так говорит мне сердце. А сердце меня редко обманывает.

Они замолчали. Скулы у Анны Лаврентьевны зарозовелись. Комаров прислушался к себе и чувствовал некоторое недоумение: тема разговора оставила его равнодушным. На глазах у Анны показались слезы. Комаров пожал ее локоть.

– Не обижайся, Аня. Я не могу тебе сейчас ответить. Может быть... потом.

Он подозвал официанта, расплатился. Давешняя легкость исчезла. Море раздражало. Они бесцельно пошли вверх по улице, не глядя друг на друга. Через некоторое время в просвете домов выросла нарядная церковь Александра Невского, стилизованная под суздальский период. Говорили, что ее посещали когда-то члены императорской фамилии.

– Зайдем? – предложила вдруг Анна.

Комаров безразлично кивнул, хотя что-то внутри него противилось этому, какая-то тяжесть на сердце. Они вошли. В храме было не протолкнуться. Служили вечерню. Паникадило не горело, только жарко потрескивали свечи в сумраке. Дышать было нечем. Анна исчезла. Комаров искал ее глазами и нашел у образа Богоматери, со свечкой в руке. Он чувствовал себя всё хуже. В сознании проплывали обрывки фраз, неведомо зачем отпечатавшихся в памяти: «... из кадила струился синеватый дымок... И столько грехов уже было наворочено в прошлом, столько грехов, так всё невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания... Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну... В числе бесконечного ряда жизней...» Огоньки свечей и лампад поплыли куда-то в сторону, вытянулись тонкими лучами. Комаров ощущал, что глаза его влажны, но это были словно чужие глаза. «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веко-ов...» Анна появилась за спиной, тронула его за локоть. Они вышли из храма.

Комаров так и не вернулся в свою часть. Он отпустил бороду, выходил из дома Анны Лаврентьевны только в сумерках. Дни тянулись однообразные, длинные. Однако Комаров не скучал. К нему пришел великий покой, оцепенение. Днем он лежал на диване, глядел в полудреме, как текла его прошлая жизнь, неспешная, мутная река. Анна уходила на службу в Ялтинский морской порт, приносила новости. Точнее, никаких особых новостей ни о войне, ни о мирной жизни не было. Менялись лишь слухи. Рубль с каждым днем всё больше обесценивался, но к этому уже люди привыкли. А ночью они лежали на супружеской кровати Анны и ее покойного мужа, вольно переплетаясь телами, как осьминоги щупальцами, и подолгу скрипели боковинами под Анины стоны, стучали спинкой о стену – размеренно вначале и всё нетерпеливей к концу, под зеленые вспышки маячного огня, сменявшиеся вспышками оргазма. Этот настойчивый стук не остался без ответа: Анна призналась, что уже беременна. Она говорила, что счастлива, потому что ей не удавалось понести за все годы жизни с мужем. Комаров не знал, счастлив ли он. Он испытал нечто похожее на счастье тогда, в первый раз, когда лежал головой на коленях у Анны, и ее груди мягко коснулись его лица. Теперь же он ощущал лишь великий покой. Великим покоем была и Анна, ее рассудительность, теплые плечи, тяжелые гладкие груди, нежный живот, лоно, сильные руки. Комаров дремал.

Он очнулся лишь спустя полтора месяца после их знакомства. Анна была как всегда на службе. Комаров вышел подышать свежим воздухом, купить папирос. Обычно перед этим, чтобы не встретить знакомых, он выжидал у окна за шторой момент, когда улица опустеет. Но сейчас не пришлось ждать: ни одного прохожего не увидел он. Комаров скользил по улице, как тень, держась стен домов. Со стороны пристани доносился какой-то шум. Вдруг из-за угла на Комарова вышел человек, похожий на него самого: шляпа, надвинутая на глаза, черное пальто, клочковатая борода. Увидев Комарова, он остановился и взял его за рукав.

– Вы слышали? – свистящим шепотом сказал он. – Они уже в Крыму, прорвали фронт.

В голове у Комарова раздался дребезжащий звон, точно в треснувшем колоколе. Он очнулся. Улица показалась ему бесконечной.

– Как? – пролепетал он. – А как же укрепления?

– Укрепления! – горько усмехнулся незнакомец. – Они прошли гнилым морем. Говорят, вот-вот возьмут Джанкой или уже взяли. Через несколько дней будут здесь. Спешите попасть на пароход.

Незнакомец исчез, будто растворился в воздухе, а Комаров всё стоял на углу под колючим северо-восточным ветром. Прошли гнилым морем? Что это? Значит, за то время, что он дремал днем, а ночью делал Ане ребенка, сдали Приазовье и Северную Таврию? Гнилым морем, в этакую-то пору?.. Ведь на Перекопе, должно быть, уже настоящая зима. Что заставило красных лезть в ледяную воду? Комаров даже не представлял, смог ли бы его взвод выполнить такой приказ. Он вспомнил портрет Троцкого в захваченной штабной теплушке красных: нечеловеческие глаза за стеклышками пенсне, стоящая торчком борода. И еще агитационный плакат «А ТЫ записался добровольцем?», где в виде красноармейца, тычущего в тебя корявым перстом, тоже, по-видимому, был изображен Троцкий. А ты? А ты поселился у одинокой ялтинской женщины в потайной комнатке, вход в которую перекрыт высоким шкафом с раздвижной задней стенкой из фанеры. Откуда и зачем у Анны такой тайник, Комаров почему-то не спрашивал. Он входил в эту свою келью через дверцы шкафа, отодвигая в сторону плечики с платьями Анны Лаврентьевны и пиджаками ее покойного мужа, словно герой авантюрного романа, – только его не ждали здесь ни ящики с сокровищами, ни лаборатория ядов. Диван, столик, лампа, графин с водой, узкое окошечко наверху для вентиляции. Судно для нужды. Всё, что требуется джентльмену. А когда возвращалась домой Анна, он вылезал из своего зашкафья, чтобы после короткого ужина дожидаться, когда она придет к нему в постель нагая, обнимет, прижавшись всем телом, как жена, и они, слившись в одно гибкое существо с четырьмя руками и ногами, будут доламывать кровать под ее прерывистые стоны. А утром – рраз! – и снова в шкаф. Такие вот командиры взводов в Белой армии. Понятное дело, их не заставишь лезть в гнилое море, и они сами никого не сумеют заставить.

Комаров поплелся по бесконечной улице. «Красуйся, град Петров, и стой, непоколебимо, как Россия»... Ясный погожий день стоял перед глазами,

войсковой смотр в Феодосии перед высадкой десанта в Приазовье. Вдоль строя блестящих на солнце штыков ехал на породистом жеребце курносый Слащов. Сияли золотом его широкие генеральские погоны, в складках ослепительно белой венгерки таилась прохлада. Бился по ветру полковой флаг, пели высокие трубы. «Здорово, ребята!» «Здрав-ав-ав ваше-ство!» – закричала соседняя рота. В числе бесконечного ряда жизней. Теперь уже не бесконечного. И не жизней. Ряд мертвых русских землепашцев, лежащих в поганых солончаках. Его братьев, что стояли с ним в Феодосии плечом к плечу. «Рады стараться, ваше-ство!» Нужно ехать на фронт. На фронт? А где он теперь, фронт? Везде. *Везде*, где найдет тебя разъяренная контрразведка и поставит к стенке. Или красные особисты. Но кому от этого будет легче? Ане? Неродившемуся ребенку? Мертвым землепашцам? «... Так всё невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении»...

Комаров стоял перед нарядной церковью Александра Невского. «Ты бы мог не возвращаться... в эту свою часть?» «А присяга?» Он хрипло засмеялся и пошел назад. Спрятался, укрылся от лавины попоной. «Струйки дыма, похожие на кудри ребенка... И столько грехов уже наворочено в прошлом... Но он просил о прощении и даже всхлипнул громко...» Не скрываясь, он вошел в дом. В передней его встретила Анна.

– Собирайся, Аня, – сказал он. – Красные прорвали фронт.

Ресницы у Анны дрогнули. Она прислонилась к лестнице.

– Вот и прекрасно. Зачем же собираться?

– Как это – зачем? Ты хочешь остаться?

– А почему нет?

Комаров засмеялся.

– Аня, я понимаю, что вас в вашей курортной Ялте всю войну не очень беспокоили. А тем временем в пятидесяти верстах отсюда, в Севастополе, матросня жгла живьем в корабельных топках офицеров. Теперь и здесь так будет, слишком много буржуев понаехало с материка. Нас уничтожают как класс, не пулей, так измором. Мой отец умер от голода, мать с сестрой от сыпняка. А сколько еще таких!

– Я знаю. И, тем не менее, это шанс.

– Какой шанс?

– Выжить. Допустим, мы пойдем сейчас в порт, купим билеты. Я, наверное, смогу это устроить. Но тебя могут узнать еще на пароходе. Не на пароходе, так где-нибудь в Константинополе или Варне. Но обязательно рано или поздно узнают. Ты хочешь уехать, чтобы увезти туда эту жизнь с оглядкой? Я специально не рассказывала тебе о положении на фронте. Неужели ты не понимаешь, что красные теперь – наша единственная надежда? Отсюда уедут те, кто знал, что ты белый офицер. Ты станешь студентом, скрывающимся от врангелевской мобилизации. С прогрессивными убеждениями. Ты можешь служить в каком-нибудь их культпросвете или наркомпросе. И получать паек. Они тоже не могут без интеллигенции. Их вожди сами интеллигенты, понимают это. Их цель не

уничтожить нас, а заставить служить себе. Так отчего бы не послужить? Разве ты не мечтал никогда служить народу?

– Аня, очнись! Какому народу? Десять миллионов дезертиров ушли с фронта с оружием в руках и три года терроризируют страну! А мне прикажешь им служить? Ты что, Чернышевского на ночь начиталась? Не будет тебе алюминиевых дворцов и даже дома этого не будет! Здесь разместят штаб этого самого культпросвета. А тебя босой пустят на все четыре стороны. Вслед за недоучившимся студентом сомнительно прогрессивных убеждений.

– Выгнать не выгонят, а подселить каких-нибудь комиссаров могут, – рассудительно сказала Анна. – Да если и выгонят, беда небольшая. В Ялте мы не пропадем, я знаю здесь многих хороших людей. Но главное, Вася, мы будем вместе. И ребеночек, понимаешь?

Комаров смотрел на Анну Лаврентьевну, как на диковинную рыбку за стеклом аквариума. Она раскраснелась, прядки выбились из высокой прически. Только рука, сжимающая перила, была белая-белая.

– Ты бы видела истерзанные трупы, которые откопали во дворе киевской чрезвычайки, когда мы заняли город! Ты что думаешь, они останутся, войдя во вкус террора? Нет! Вот они одну проблему решили расстрелом, другую, третью. Это развращает. Ведь ничего не надо, только патронов побольше. И захочешь без расстрелов, да не сможешь. Кончат резать контру, начнут своих Мирабо и Дантонов. А где лес рубят, там щепки летят. Сказать тебе, кто эти щепки? Или сама догадываешься?

– Не знаю... – она отвернулась. – Уезжай, если хочешь. Мне незачем, все равно я там останусь одна. Уж лучше здесь.

Комаров не ответил. Что он мог ответить? Глаза будущего были пусты. Он стоял на пороге и мял шляпу в руках. Назад пути нет, а впереди туман, бездна. Из непритворенной двери сквозило ветром. «Культпросвет, культпросвет», – бессмысленно повторял он про себя. Анна не двигалась. Плечи ее поникли.

– Ладно, попробуем, – сказал Комаров. – Что нам еще остается?

И он прошел мимо нее в комнату, где стоял шкаф, открыл дверцу.

Через несколько дней в кабинете исполняющего обязанности начальника ялтинской ЧК Буревого заверещал телефон. Он взял тяжелую трубку. Звонил дежурный из караулки.

– Товарыш Бурэвий! Тут до вас якый-то жид прыйшов з питаннем. Призвыще – Панафидин. – В трубке послышался протестующий голос – видимо, упомянутого Панафидина. – Чого? А-а... Выбачьте: вин кажэ, шо не жид, а пиндос. З особыстым питаннем до вас.

– Ты что? – гаркнул Буревой. – Сгною за антисемитизм! Что это за слово – жид? Какой еще пиндос? С каким таким особенным питаньем? Педераст, что ли? – не без опасения осведомился он.

- Та ни. Шо ж я, нэ знаю, шо такэ пидорас? Цэ чоловик, якого замисть жинкы выкорыстують. А цэ – грэк. Грэков в нас так клычуть – пиндосамы. А пытанья – цэ по-нашэму вопрос. Звычайно, товарыш Бурэвый, можэ, вин и пидорас, алэ ж я нэ бачыв, колы його...

- Заткнись! Я из тебя выбью великорусский шовинизм!

- Шо вы?! – испугался словоохотливый караульный. – Шо вы? Сказылыся? Якый вэлыкоруськый жопынизм? Я ж хохол! Мы, товарыш Бурэвый, нэ кацапы...

- Ладно, ладно! Впусти. Как устал от этих махновцев!.. – вздохнул Буревой, опуская трубку. – Все у них жиды, пиндосы, кацапы... «Выбачьте»... «пытання»... «жопынизм»... Тьфу! Дикие люди! А ты изволь, делай с ними мировую революцию...

Вскоре, деликатно постучав, в кабинет бочком вошел «пиндос» – пожилой маленький грек в черном пальто с траченным молью воротником. Еще от порога начал он кланяться. Буревой насмешливо за ним наблюдал.

– Ну, что ты кланяешься, как Петрушка? – спросил он. – Я тебе что – частный пристав? Выкладывай, с чем пришел, или убирайся. Нет у меня времени со всякими клоунами разговаривать. Мне здесь надо с контрреволюцией бороться, а не на твой цирк смотреть.

– Так вот, гразданин товарись нацяльник, посмотрите, будьте ласковы, сию картоцку. – Он протянул чекисту какую-то фотографию.

Тот взглянул на нее, потом быстро на грека, потом снова на фотографию. На открытом челе Буревого появилась вертикальная складка.

– Та-ак, – наконец сказал он. – Ты зачем это снимал?

– Я во всякий цас и во всякое время снимаю, гразданин комиссар, когда клиенты просят, ибо имею многих деток, коих надо кормить. И господина офицэра с мадам Касьяновой снял, есё в октябре, при Врангеле. Эта мадам Касьянова тогда сказала, цо у моего попугая блохи. Гнусная лозь! Он теперь умер, бедолага, но не через блох, а через то, цо корма не стало... – На глаза Панафидина навернулись слезы. – Ему ведь не всякий корм полезен...

– Да неузели? – передразнил его Буревой. – Ты еще расплачься! Здесь скоро люди начнут от голода пухнуть, а он жалуется, что корма для попугая нет! Врангель-то ваш весь хлебушек вывез на французских судах! И корм, наверное, тоже – для французских попугаев. Ты давай ближе к делу, Панафигин или как тебя там.

– Панафидин, господин товарись нацяльник. – Грек вздохнул и продолжил: – Ну, вот-ц. Запечатлел, стало быть, я эту пароцку, а за фотокардиями никто не присол. А вцера иду по улице и визу, как этот господин заходит в дом к гразданке Касьяновой. И по сторонам так есё оглядывается. Я его сразу узнал, хоця на нем, извините, ни кокарды, ни погон, как на этой фотокардии, а, напротив, всё цивильное да есё борода. Только редкая, всё равно узнать мозно. Я заинтриговался и встал от дома тоцно наискосок, цтобы меня из окна не увидели, наблюдаю. Мне это просто: поставил аппарат и стою, будто клиентов озыдаю. Мозет, думаю, на минутоцку засол господин бывсый офицэр, по делу какому? Только до

ночи, гражданин нацьяльник, из дому никто не выходил. А дальсе я узе не стал здать, замерз. А потом ресыл на всякий случай принести црезвыцьяной канцелярии карточки и негатив.

– Та-ак, – двигал скульптурными желваками Буревой. – Что же, Парафидин, послужил мировому пролетариату. Избавляешься от мелкобуржуазных иллюзий. Молодец. Давай сюда свой пропуск.

– Я, гражданин нацьяльник, хотел бы есе насцёт ателье узнать...

– Ладно, – махнул рукой Буревой, – сьмай пока. До освоения пролетариатом фотографической техники в полном объеме. А там мы вас к ногтю, мелких собственников.

– Хоросо бы бумазецку какую, гражданин комиссар, а то ведь без бумазки как?

– Вот привязался! – Буревой взял лист бумаги, черкнул на нем несколько слов, расписался и бросил через стол Панафидину. – Зайди в канцелярию и поставь печать. Давай пропуск. Никому ни слова, понял?

– Понял, как не понять, гражданин нацьяльник, не извольте беспокоиться! Могила! Премного, премного вам благодарен! – Грек пятился к двери с бумажкой, кланяясь, как и давеча, точно его появление показали в кино, а теперь откручивали пленку назад.

Проводив его мрачным взглядом, Буревой взялся за рукоятку телефона, спросил в трубку:

– Товарищ Папанин уже приехал из Севастополя? Ага. Пригласи его ко мне. – И стал вертеть козью ножку, не спуская глаз со снимка.

Через несколько минут в кабинет вошел вразвалку крепко сбитый усатый матрос с красными от недосыпа глазами, в бескозырке с надписью «Катерный причаль». От обычного матроса-черноморца его отличала хрустящая новенькая кожаная куртка на плечах и командирский маузер в лакированной кобуре. Буревой пожал Папанину руку.

– Садись, Иван. У меня вопрос насчет Касьяновой. Скажи мне, с кем она сейчас работает?

– По агентурной линии – ни с кем. Мы ее сейчас привлекаем к опознаниям, она здесь много офицерья и пособников знает.

– А вот этого она опознала? – Буревой переброесил Папанину фотографию. – Или это твой человек?

Матрос некоторое время изучал карточку.

– Нет, не видел такого. Надо проверить, конечно. Контриков в одной Ялте сотни, всех не упомнишь. Но что не мой – точно.

– А он, между прочим, живет у нее, по имеющимся у нас сведениям.

– Как?

– А так. Ты вот что, Иван. Подготовь-ка к вечеру из своих людей оперативную группу на задержание. А пока установи наблюдение за ее домом, пусти «хвосты» за всеми, кто оттуда вышел.

– Ясно, – задумчиво кивнул Папанин и вышел.

Буревой откинулся на спинку стула. Самокрутка погасла, но он забыл о ней.

– Эх, Аня, Анюта... – сквозь зубы сказал он. – В двойные игры играешь? Или полюбился тебе офицерик? Вот мы и поставим вас рядышком к стенке, а комендантский взвод вас сфотографирует. На вечную память.

Он снова взял фотографию. На него посмотрела большеглазая милостивая женщина в легком холстинковом декольтированном платье. Округлое лицо в тени шляпки, точеные смуглые плечи. В обнаженной по локоть полноватой руке дымится длинная папироса. Рядом развалился на плетеном стуле безусый офицер с нервным лицом. Лихо заломленный картуз с кокардой, выгоревший на солнце френч, мятые прапорщицкие погоны. В правом углу наискосок бежала кокетливая надпись с завитушками: «Не Забывай Ялту. 1920-й Годь».

«Наш современник», 2015, № 3